

...Сюда пригнал он связанных друг с другом
быков, собак и белорунный скот.
Тут началась расправа: тех в затылок
он поражал, тех в горло, тех мечом
он надвое рубил; иных в оковах
он истязал — людей он, верно, видел,
а не животных бессловесных, в них.

Софокл. «Аякс»

Звук.

Звук воды, отвесно падающей в дождевую бочку, стоящую за стеной дома.

Опрокинутый гейзер струи бьет до самого дна. Ошалев, мечутся мелкие, в половину ладони, караси, принесенные накануне с рыбалки. Кружатся желтая от пыли пена, розовые соцветия яблонь, прошлогодняя бурая листва и ссохшиеся, с черными пятнами тлена, яблоки, смытые из трубы напором ливня; паутина и уловленные ею букашки, — гляди, блеснуло слюдяным изломом крыло стрекозы!

Гроза срывает, уносит все, что увяло, отжило, — и то, что только что родилось, еще не окрепло, нетвердо держится; остатки минувшего и завязи будущего.

Утром, когда гроза иссякнет, вокруг бочки на смятой траве останется отрывок перехлестывавшей через край ночной стихии: скукоживающиеся хлопья пены, измочаленные, вымытые до смертной прозрачности соцветия. Караси всплывут белыми брюшками кверху, смерть лишит их единственного достоинства твари — быть верно расположенной в пространстве.

А ты будешь стоять, маленький ребенок, еще помнящий щекой тепло подушки. И никого и ничего тебе не будет жаль: ни рыб, ни соцветий, ни сбитых завязей, будто ты видел это уже десятки раз, в разное время и в разных местах; будто среди многих звуков земли тебе люб только один.

Звук воды, отвесно падающей в дождевую бочку.

Кирилл глотнул еще вина, закурил сигарету, свернул файл с начатым текстом, отодвинул ноутбук.

Да, теперь в доме никого нет, и можно курить внутри. Вот он, тот угол, где он спал в детстве. Только диван передвинули. И дождя нет. Хотя время то же самое: начало июля.

Почему он начал текст именно так, с воспоминания о грозе?

Вдалеке, на станции, заныла электричка — последняя, наверное, в сторону Москвы... До утра... Электричка пошла, значит, сейчас закроют переезд.

Кирилл вспомнил, как шесть часов назад сам стоял в очереди на этот переезд.

Холодный вечер, остывающий росой на траве, набухающий каплями на горячих капотах машин. Слева — дома за глухим забором, молчаливые, без огней. Справа — речушка в низине, петляющая в зарослях камыша, окруженная лугами. Оттуда-то, с лугов, куда еще не выгоняли коров — топкая почва не просохла с весны, — напоздали клубы густого тумана, играющего обманными радугами в отблесках фонарей.

Стояло безветрие. Туман поглощал звуки. Вдруг внутри тумана, осветив изнутри его зыбкие пелены, проступило расплывчатое сияние, превратившееся в ярко-желтый движущийся шар света. Все водители обернулись. Из полумглы надвигалось нечто столь же мистически-грозное, как гало вокруг солнца, — знак грядущих событий, настолько зловещих, что они могут исторгнуть из немой материи косноязычный символ.

Миг — и жуткое ощущение пропало. Притормозив в густом тумане, московская электричка тихо подкатывалась к поезду; ярко светилась лобовая фара.

Шар света. Это он по цепочке ассоциаций отправил мысль Кириллу к воспоминанию о ночном дожде.

Шар света. Этот образ связан с бабушкой Линой. Кирилл закрыл глаза, пытаясь вспомнить ту давнюю грозовую ночь.

Он снова был ребенком, снова слышал, как приемник объявляет сквозь шуршание помех и певучие стоны радиоволн: «В Московской области ожидается сильный штормовой ветер с порывами до двадцати двух — двадцати трех метров в секунду».

Та гроза собиралась неделю или больше, томила жарой и вялостью. У бабушки Лины ныли кости, но она ходила и ставила подпорки под яблони, осыпанные плодами. Год выдался урожайный, бабушка говорила, что не помнит такого множества яблок, разве что перед войной, в июне сорок первого.

И вот в день седьмой, когда уже казалось, что гроза рассеется, исчерпает себя в слишком долгой натуге или пройдет стороной, прогрехочет за горизонтом, радио с утра передало: «В Московской области ожидается сильный штормовой ветер с порывами до двадцати двух — двадцати трех метров в секунду».

Кирилл не поверил объявлению: небосвод был блеклым, движения трав и ветвей безжизненны; даже вода, казалось, притихла, ослабела от жары, и еле-еле струился лесной ручей.

После полудня вдаль показалась сизая стена облаков. Заметив ее, бабушка Лина прекратила обедать — событие немислимое, ибо она исповедовала законченность всякого дела, движения, жеста, фразы, — и поспешила в огород убрать инструмент и вещи, а Кириллу велела накрепко запереть окна; каждый шпингалет.

Что-то проступило в ней, чего Кирилл не видел раньше. Ее будто преследовали по пятам призраки страшных, непостижимых для него бед: войн, пожаров, наводнений. Но все же бабушка не металась, а собирала вещи скупыми, точными движениями, и траектории ее шагов пролегли по самому короткому, экономному пути, словно были загодя просчитаны и отрететированы.

Она словно *своих* уводила от опасности — старую плащ-палатку, в которой носили сено, скамеечку, на которой сидели, собирая крыжовник. У крыльца отирался приبلудный кот, но на него бабушка не обращала внимания — невидимый купол ее заботы накрывал только людей и *людское*.

Кирилл пробежался по комнатам, проверил задвижки на окнах; вышел на крыльцо, недовольный бабушкиной тревожной предусмотрительностью, — дождь и дождь, чего бояться?

Потом накрывали парники. Кирилл таскал гладкие бульжники, чтобы придавить пленку, — и через их тяжесть в него постепенно вошла весома сила будущей бури; когда огурцы и помидоры были укрыты, он, распрямившись, обернулся — и обомлел.

Обособленной гряды облаков, идущей с севера, уже не было. Само небо меняло цвет и материальность, будто гиблая, скоротечная гангрена пожирала небосвод.

Из нее метнулся, как изо рта змеи, фиолетовый язык, лизнул что-то за лесом.

Ударил гром; заложило уши.

Лениво вращавшийся флюгер, выточенный из алюминия на военном авиационном заводе, — подарок армейских друзей деда — вдруг ретиво запел, его пропеллер загудел, слился в светлый мерцающий диск.

Ветер мягко толкнул стены. Прянули, звякнули укрепленные гвоздиками стекла. Слитно качнулись кроны.

Флюгер замедлился, замер, словно катушка спиннинга, когда щука тронула приманку и ушла.

Закапал дождь — тук, тук, тук, тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук... Чистые крупные капли зашумели в листве

и на крыше. Ничего страшного. Летний ливень, ну, может, чуть сильнее обычного.

Если бы не сизый нарыв небес!

Бабушка Лина, набросив дождевик, ходила по двору, собирала все железное — тятку, забытую на грядке, совок, помойное ведро, залитую мыльной водой сковородку.

В грозу она всегда опасалась молний.

Она давно упрашивала сына, отца Кирилла, спилить большие березы, росшие на участке. Высокие деревья притягивают молнии, говорила она. И казалось, она почему-то думает, что грозное электричество ищет ее, пытается настичь.

Это считали причудой: мало ли у кого какие страхи. Да и сама бабушка в погожие дни смеялась над своим испугом. Но вот приближалась буря, и Кирилл почувствовал, что бабушкин страх имеет под собой какое-то основание. Она как будто знала, что именно может произойти, и убирала все вещи, способные притянуть *недоброе*, стать его — в буквальном и небуквальном смысле — проводником.

Дождь, смочив траву и листья, почти перестал. Флюгер крутился с лентой.

А небо остекленело, выгнулось брюхом к земле, и внутри стучалась чернильная ядовитая муть.

Раз — и флюгер снова запел; так поет катушка спиннинга, когда щука заглотила блесну и уходит в глубину.

Кирилл инстинктивно посмотрел на самодельный громовод, торчащий выше телевизионной антенны: ошкуренную лесину с металлическим стержнем наверху и проводом, уходящим в землю. Ему передалось бабушкино напряженное ожидание, он почувствовал, что неуклюжая эта конструкция — единственная их защита сейчас.

Дрогнул свет ламп. С высоты, с размаху на дом обрушилась стена воды. От сырости мгновенно запотели стекла. Из водосточных труб устремились в бочки бурлящие потоки, по окнам хлестало так, что вода стала просачиваться сквозь трещины в замазке.

Бабушка Лина в прихожей снимала дождевик. Кирилл поднялся на чердак, этажом выше к грому.

Свет конвульсивно моргал. Синие молнии испарывали муть. В водовороте ливня кружило листву яблонь.

Обломилась ветвь аркада, которую бабушка лечила от лишая на коре. Раздвоенная антоновка разломилась пополам, осела, подпрыгнула от удара о землю, разбросав в разные стороны яблоки. Кроны огромных берез метались

на высоте, недосягаемой взгляду, и было только видно, как ходят, крелятся под ветром неохватные стволы. Любая береза могла рухнуть на дом, сокрушить его тонкий, поддерживаемый стропилами конек.

Погас свет.

Град. Ледяные комочки, странный летний сахар. Бьет, барабанит по стеклам.

Капает вода с потолка, течет из-под рам — старый дом не рассчитан на такую бурю.

Мыши забегали, лезут наверх по лестнице; наверное, заливаает подвал; сколько же их!

Первобытный огонь бросает долгие тени — бабушка на первом этаже зажгла свечу.

Вроде бы множество людей вокруг, в соседских домах. Но они с бабушкой наедине с ветром, мглой и дождем.

Обычно Кирилл чувствовал, что бабушка Лина знает, где он в доме, держит его в поле рассеянного, но чуткого внимания; сейчас это поле исчезло. Бабушка Лина ходит со свечой, снова проверяет шпингалеты. Ее фигура отражается в запотевших стеклах. Она движется как лунатик.

Удар — разлетелось окно, выбитое ветвями яблони. Свеча упала из бабушкиных рук, покатилаь по полу, но не погасла. Бабушка схватила кухонный поддон, закрыла пролом, словно ждала, что снаружи кто-то полезет. Он поднял свечу, не чувствуя, как горячий воск обжигает пальцы, и встал за ее спиной. В соседнем окне отразилось свечное пламя — но не узким, острым язычком, а светящимся радужным шаром. Бабушка вздрогнула — и стала отступать, держа перед собой поддон как щит: она в страхе защищалась от этого мерцающего шара.

Ветер влетел в разбитое окно и погасил свечу; шар света, отраженный в окне, исчез.

Бабушка Лина осела на пол. Кирилл бросился к ней. Дыхание было слабым, тихим, но легким и чистым, словно дышала не старая, болюющая астмой женщина, а та маленькая девочка, которой она когда-то была.

Минута. Вторая. Третья. Дыхание не менялось.

Он заметил на стене белый шкафчик с домашней аптечкой; в голове возникло бледное слово «обморок», а потом — резкое, пахучее, молодцеватое «нашатырь».

Кирилл поднес смоченную нашатырем ватку к носу бабушки. Он вспомнил, как бабушка выводила нашатырем застарелые пятна, чистила серебряное кольцо, сводя патину. Он верил тогда в эту жидкость, как алхимик, верил, что она

изгонит из бабушки то, что вселилось в нее и не дает дышать полной грудью. И нашатырь не подвел, бабушка открыла глаза, отвела его руку с ватой, слабо проговорила:

— Хватит, папочка, хватит, жжется...

Кирилл тогда не заметил этого «папочка», оно прозвучало для него как «лапочка» — бабушка называла его так, когда он делал что-нибудь слишком рьяно, теряя за усердием изящество и точность; *лапочка*. Он был слишком рад, чтобы разобрать, что слышал П вместо Л.

— Принеси, пожалуйста, воды, — попросила бабушка; если бабушка, как всегда, вежлива, значит, она полностью пришла в сознание, сгинул ее странный страх.

Кирилл помог ей подняться. Он хотел спросить, почему бабушка испугалась светящегося отражения в окне, но ощущал, что она не хочет вопросов.

— Я пойду спать, — сказал он и поцеловал ее в щеку.

— Иди, мой хороший, — сказала она нежно. — Буря стихает.

Он закрыл за собой дверь.

Дождь уже не хлестал, а стучал дробно, ровно; из его звуков ушло неистовство. Кирилл устал, будто ураган возносил его в воздух, бросал оземь, разламывал, скручивал, стегал внезапными порывами. Мускулы ныли. И Кирилл понял, что прожил эту бурю вместе с яблонями; мыслью и чувством боролся, подпирал стволы, удерживал ветви; все силы были исчерпаны, и телесные, и душевные. Не расстилая постель, он повалился на свой диван в углу и уснул; вода гулко падала в дождевые бочки; он чувствовал, как натяжены их металлические обручи.

Кирилл спал без сновидений — на них тоже нужны силы; провалился в глубину несуществования.

Он проснулся ближе к полудню; открыв глаза, прислушивался к телу, ставшему пустым и новым, будто необжитым еще.

Когда он вышел на крыльцо, ему показалось, что он еще спит и поэтому шагнул в хаотический мир, где вещи еще не успели вернуться в состояние яви, занять свои места, собраться в привычный порядок.

Выход с крыльца преграждали ветви упавшей яблони. На месте крон и стволов зияла пустота, будто кто-то зловещий изъял их, утащил в другое измерение, вынув тем самым привычные подпорки зрения, сознания, памяти.

Из разломленных стволов вытекал, пенясь, сок, но листва уже увяла; еще вчера она была исполнена жизни, а теперь

жизнь ушла — вся и сразу. Только сбитые ветром яблоки блестели в траве, омытые дождем.

У забора повалило тополь. Его листва, пусть прореженная, осталась глянцевицей, упругой. Казалось, если тополь поднять — он легко вырастет на прежнее место. Яблони, истощенные созревaniem яблок, погибли мгновенно, а неплодоносное дерево оказалось более стойким; какой-то отвратительный закон жизни открылся Кириллу в этом.

В саду все было порушено. Пленка парников, которую кропотливо штопали, берегли, разлетелась лоскутьями. Снесло смородину, сливы, только мелкий, злой крыжовник уцелел, вцепился в колючие ветки. Грядки размыло, из земли торчали жалкие, детские тельца недозрелой моркови, репы, свеклы. Огуречные плети были вбиты в грязь; младенческие — еще вчера в серебристой испарине рождения, в нежном пушку, — маленькие огурцы плавали в грязных лужах.

Соседи не успели вчера снять белье с веревки. Теперь старое ситцевое платье с пунцовыми розами висит на заборе, детские распашонки белеют в траве, словно свидетельства отчаянного бегства: кто-то спасался во мраке, а по пятам неслась погоня, бесы ночи; взвихренный след этой погони еще читался в воздухе, ощущался ноздрями.

Только теперь Кирилл заметил, что в промытом после грозы, родниковом воздухе пахнет гарью; над деревней поднимался дымок дотлевающего пожарища.

Он понял, из какого места тянет дымом, чей дом сгорел.
Дом Старшины, недавно оставшийся без хозяина.

Кирилл и десятилетия спустя помнил давно умершего старика так, будто вчера видел.

Был вокруг Старшины особый, запоминающийся ореол.

Хотя роста он был среднего, фигура ничем не примечательная, лицо обычное, ну рябое, так мало ли рябых; одежда слегка неопрятная — пуговица оторванная, манжеты на рубашке протертые, пятно на штанине, — так многие деревенские мужики ходили.

Но все в деревне и на дачах знали, что дважды представляли его к Герою и дважды не дали Золотой звезды. Орденами и медалями, что имелись в избытке, он не форсил, в коробке под верстаком держал; не показывал зазря никому — свое, кровное, — но и значения особого не придавал. Не звали его выступить перед пионерской

дружиной и венки к обелиску над братской могилой возложить.

Только самые проницательные догадывались, что снедает Старшину люта́я зависть к командирам, которые его кровью «Красные звезды» и «Красные знамена» получали, а еще Хмельницких и Суворовых, какие ему, младшему чину, по статусу не положены; ко всем, кто в досталь урвал славы и достатка от победного большого пирога, кто грузовиками да эшелонами домой добро немецкое гнал, а потом мемуары писал про славный боевой путь дивизии, что-нибудь вроде «Под гвардейским знаменем» или «Фронтowymi дорогами»; а он что — старшина, таких старшин миллион в землю лег.

В деревне этой Старшина родился, в войну служил в разведке, в родную деревню и вернулся. Поговаривали — глухо, тайком, — что *пошаливал* Старшина после войны, благо Москва близко, с такими же, как он сам, ухорезами. Но потом завязал, устроился сторожем на овощебазу; кормился от «левых» грузовиков — но это все слухи; бывало, милицейская машина стояла у его дома, начальник районной уголовки приезжал бутылку распить, такой же разведчик, на одном фронте воевали.

Конечно, уважала деревня Старшину за то, что ордена всем под нос не сует, но этого мало. В другом дело было. Скажем, рубит мужик топором дрова; мирная картина. А Старшина что ни возьми — топор, пилу, стамеску, нож кривой садовый, — другое значение в его руках железо приобретает; немирным оно становится, недобрым. Зубья пилы, лезвие топора, острие стамески, наевшиеся березы да осины, сытые лубом да корой, вдруг словно скалятся хищно, возникает в них жажда крови соленой, горячей, а не сока древесного невинного; это-то и чувствовали деревенские, потому-то и был Старшина Старшиной, с большой буквы.

Только ближняя соседка его Федосеевна, городская, на работу в деревню присланная, комсомолка бывшая, идейная, по-своему о Старшине судила. Вышла она до войны замуж за его соседа, тракториста-ударника; ударник тот в танке сгорел уже за Одером, когда счет «тигров» и «пантер» на последние десятки шел, — однако ж подловили его две «кошки» из засады, спалили весь взвод, пока они у канала оросительного тыркались, переправу искали.

Федосеевна траур по мужу носила так долго, как в деревне не принято. А потом завучем стала — преподавала она

историю — и музей краеведческий при школе придумала создать, земляков опрашивать, как воевали они, что видели.

На этом у них размолвка со Старшиной и вышла. Прежде жили они ровно, здоровались по-соседски, Старшина ей даже парники ладить помогал, дело-то вдовье, он к этому строго относился. Уважал он ее по-своему за траур, за то, что верной покойнику двадцатипятилетнему осталась, дружку его детских игр, от которого только пепел да копоть похоронная команда из танка выскребла. И черт же ее дернул с него-то свои расспросы и начать, да еще двух пионеров с собой привести, парня да девчонку, — беседу записывать.

— У мужа своего, покойника, спроси, — сказал Старшина Федосеевне в ответ на просьбу ее рассказать, какая она, война, чтобы детишек на примерах ветеранских воспитывать. И дверь закрыл.

Будь на ее месте мужчина, набил бы Старшина ему физиономию. И себе Старшина признаться не мог, что крепко задела его Федосеевна: ведь на самом деле он хотел бы душу задубелую исповедать. Получалось, поняла она его тайное желание, это Старшину и бесило. И нависала над этой размолвкой-ссорой тень беды, которой пока еще никто не видел.

Деревенские знали, что в июле, в день, когда Старшину ранило в битве на Курской дуге, он закрывает ставни в доме и пьет. Одни говорили, что снимает он со стены портрет Сталина, наливает стакан, ставит под самые усы и чокается с Вождем. А другие толковали, что берет его в этот день скверная обида за единственное ранение, вроде как не боевое — осколком мины шмат мяса с ягодицы срезало. Пил он в закрытом доме, полную мерку давней ненависти к врагу себе наливал; но не брала его, сердцем ожесточившегося, сивуха; а под вечер выходил на улицу, не шатаясь, твердым шагом — и начинал *немцев* искать.

Деревенские с пониманием относились, не сообщали, что война почти сорок лет назад кончилась. Говорили, что были-де немцы, но выбили их наши, соколики, аккуратно тому неделя как, а сами на запад ушли, гарнизона не оставили, бо деревня-то невелика, всего один колодец. Подносили ему как герою-освободителю стакан самогона под яичко, вкрутую сваренное, и горбушку с солью крупитчатой, серой. Самая сила от нее, говорил Старшина, который белой, мелкой магазинной соли не признавал.

Дети по канавам и кустам прятались, бесплатное развлечение, а взрослые серьезно относились. Никто потом

Старшине не пенял, что ходит он по деревне и народ будоражит. Однажды Старшина почтальона нового зашиб: племянник чей-то на лето устроился, раскатывал на велосипеде во френчике модном, на мундир немецкий издали похожем, вот Старшина и решил, что это немецкий связной заплутал, немцы-то на двух колесах часто ездили, да и велосипед был блестящий, ненашенский, откуда-то из Прибалтики. Старшина почтальона как «языка» взял, мозги ему сотряс основательно, но деревня его сторону приняла, и тетка племяннику строго-настрого заказала заявление в милицию писать.

Одной весной Федосеевне нового гусака привезли, то ли польского, то ли венгерского, — дальний ее родственник, что в соцстранах работал, порадовал старуху. Гусак и вправду был на племя хорош — белизны отличительной, будто у свежего зимнего снега взятой; клюв оранжевый ярче мандарина; тулово мощное, но не тяжелое, словно летать ему больше в пору, чем ходить; злой, свирепый, старого гусака забил, хоть моложе был и на вид слабее; в общем, исключительный гусь.

Федосеевна его Мартыном назвала — нахальное звучание имени понравилось, подходило оно гусю. Но Старшина гуся по-своему перекрестил. Вышел он в свой самогонный день на деревенскую улицу, а гусак ему дорогу заступил, зашипел. Старшина домашнюю скотину и птицу, зверей лесных за живое не считал; звали его свиней резать и палить, птицу бить, зайчишек в окрестных лесах он ради чистого смертоубийства постреливал, к друзьям фронтовым в Сибирь ездил медведя брать с берлоги, а тут гусь какой-то. Но Старшина, пьяный до страшной трезвости, посмотрел на гуся и сказал с улыбкой нехорошей, с изумлением живодерским:

— Ну чистый фриц! Фрииииц! — И добавил, словно взглядом гуся ощипал, шею его длинную поласкал: — Ты подрасти, фриц! Подрасти! Вот тогда...

Гусак отступил — наверное, впервые в жизни, ни от собак он не бегал, ни от котов; замотал головой растерянно, но потом все-таки зашипел Старшине вослед, шею напряжинив.

Так появилось у гуся новое имя — Фриц. Мальчишки пересказали, бабки посудачили, и вся деревня стала так гуся звать в отместку за нрав задиристый и холеность чужеродную. Федосеевна посопротивлялась, но гусь сам стал кличку прежнюю забывать, мальчишки его дразнили: «Фриц,

Фриц, снеси яиц!» — а он распаялся, но крыльями не хлопал, шею тянул и норовил цапнуть. Федосеевна поплакала — вроде украл сосед у нее гусака, в свою масть перекроил, а после привыкла, даже загордилась и сама стала гуся немецким считать, хотя он ни ГДР, ни ФРГ отродясь не видел.

Года через три это случилось, когда Фриц в силу вошел. Всякую мелкую тварь он к своей силе приучил, уже гусята у него подрастали — в отца характером, склочники, только колер его белоснежный им не передался, сероватыми все выходили; эх, видать, порченная порода, злорадствовали деревенские.

Кирилл в тот день все видел своими глазами; он с товарищами на песочной куче играл в саперов. Дороги в песке проложены, «вода» — как бы шофер немецкий — за веревочку грузовик игрушечный по ним ведет, а партизаны мины закопали, веревочки с палочками привязанными. Успел вовремя дернуть — палочка снизу в днище грузовик ударит, перевернет; не успел — песок во все стороны полетит, конвой немецкий дальше едет. Куча у пруда была, где дома Старшины и Федосеевны.

Выпил Старшина в тот день июльский, когда осколок немецкий ему, ползущему по-пластунски, зад распорол. Вышел за ворота, уставился на детей, и сразу расхотелось «воде» дальше грузовичок вести; подошел, осмотрел диспозицию, хмыкнул: партизаны хреновы, — и взгляд с одного на другого переводить стал. Не любил он детей, звал заморышами, но не трогал никогда. И впервые Кирилл заметил, какие у Старшины огромные руки, словно для великана роста двухметрового были сделаны, а Старшине их в госпитале пришили; увидел седой волчий волос, растущий на пальцах, толстые желтые ногти.

— Брысь отседова! — скомандовал Старшина. Все Кирилловы дружки деревенские порскнули вдоль забора, по канавам; а ему нужно было в другую сторону, на дачи, чуть замешкался он, а Старшина уже отвернулся; знал, что после его слов никого и ничего не останется.

Кирилл вжался в песочную кучу.

Старшина пошел к пруду; и снова Кирилл видел огромные ладони, которые не поместились бы, кажется, в карманы; не человечье что-то было в них, а бычье, медвежье.

Гусыни Федосеевны плавали в пруду; Фриц шагал по топкому берегу, охранял пробующих воду гусят. Увидев Старшину, гусь развернулся и пошел навстречу; зашипел,

а потом глаза стали остервенелые, узнал он обидчика — Старшина, когда трезвый, часто его дразнил. Показалось — Старшина отступит, увернется, а то и побежит прочь, потому что пьяный с хитрым и вертким гусем не совладеет; злоба в нем, в Старшине, вялая, созревшая, как соленый огурец прошлогодний; а гусак чистой ярости полон, будто давно ждал случая поквитаться.

Но Старшина, оказывается, только и ждал, что гусь бросится. Неуловимым движением руки, вдруг ставшей слишком длинной, телескопической, схватил гусака за шею и поднял в воздух, ладонь сжал, перекрыл кислород. Гусь затрепыхался, крыльями забил, весу в нем было килограмм пятнадцать — как такую тяжесть на вытянутой руке держать? Но Старшина держал, и Кирилл осознал, какая сила живет в стариковском теле, медленная, давящая сила, как у тисков; осознал, словно сам был тем гусем, сам чувствовал на шее стальные пальцы.

Гусь обмяк, кончики крыльев мелко подрагивали. Глаза, из которых ушло бешенство атаки, стали кроткими, начали закатываться; а Старшина левой ладонью погладил гуся по голове, приговаривая:

— Ну вот и все, Фриц. Попался ты. Все, Фриц, все. Не рыпайся. Хуже будет. Вот и все, Фриц. Пришло твое время. Пришло.

Смотрел Старшина прямо в глаза гусю. И Кирилл понял, что не птицу видит Старшина сейчас, а ефрейтора какого-нибудь немецкого или кашевара тылового, которым понесчастлилось невовремя от блиндажа отойти. И важно, чтобы умер этот немчик тихо — проку от него нет для разведчиков, чином маловат, — не крикнул, не всхлипнул, и потому Старшина немчика в смерть *провожает*, слова шепчет почти ласково, чтобы не сбился тот на смертной дороге, не захотел на секундочку обратно вернуться, умирал послушно, безо всяких взбрыкиваний ненужных.

Кирилл хотел выбежать, вцепиться в руку Старшины, освободить гуся. Но чувствовал, что и его, мальчишку, Старшина примет за кого-то другого: он вообще не видит сейчас ни пруда, ни гусей, ни домов деревенских; он целиком там, на войне, в приднепровских болотах или в немецком городке каком-нибудь. И нет возможности вырвать его оттуда, ибо все смещено в его голове; и когда он увидит вместо тебя солдатика из фольксштурма, он вправду так видеть будет; не смутно, как во сне обманном, а с последней

ясностью — память его сама тебя переоденет, лицо изменит, фаустпатрон в руки даст.

Многого Кирилл боялся, но так боялся в первый раз. Почувствовал, как обмочился. Царь страхов пришел в обличье Старшины, что душил гуся Фрица. Старшина по-настоящему верил, что убивает всамделишного немца; и ужас был в самой возможности этому произойти, ибо тогда нет ничему никаких основ, нет меж людьми никаких законов.

А Старшина двумя руками за шею Фрица взялся, сцепил пальцы — и голова гуся стала поворачиваться. Только сейчас Кирилл расслышал, что гусь кричит, не шипит, не гогочет, а именно кричит, и вопль его близок к человеческой речи, словно Фриц тщится объяснить убийце, что не солдат немецкий он, и мир призывает в свидетели. Но голова уже двигалась неестественно, так, как живое двигаться не может. Потом хрустнуло, оборвалась суровая ниточка жизни, голова упала на бок; зеленая утробная кашица потекла из клюва.

Старшина гуся на землю аккуратно опустил, постоял, на дохлую птицу пристально глядя. Потом обвел взглядом округу, увидел как бы наново остальных гусей, у пруда сгрудившихся, клекочущих тихо. Сын Фрица, второй по старшинству гусак в стае, согнал их вместе, а сам чуть впереди встал, чтобы и главенство обозначить, и Старшину лишней смелостью не раздражить.

Кирилл хотел крикнуть — летите, бегите, спасайтесь! — но язык отнялся. А Старшина с холодным воодушевлением пробормотал:

— Фрицы! Ууу, сколько вас! Фрицы! — и пошел к своему дому, только повторяя: — Уууу! Уууу! — словно ни человек, ни простой зверь лесной, словно глубокая, большая, как желудок динозавра, плотоядная бездна открылась в нем, и оттуда доносилось это: — Уууу!

Кирилл понадеялся, что Старшина уходит выпить еще стакан и можно будет загнать гусей в кусты, в камыш или кликнуть кого-нибудь из взрослых. Старшина в доме скрылся; Кирилл хотел бежать, но словно чутье солдатское у него появилось, подсказало: не спеши, не высовывайся. И точно — вышел на крыльцо Старшина с карабином охотничьим, на котором прицел оптический стоял; у забора присел, ствол меж штaketин просунул, в прицел смотрит. Подумал Кирилл, что прицел приблизит гусей, наведет взгляд Старшины на резкость — оптика, стекло чистое, врать не умеет — и очнется тот, поймет, с кем воюет в жаркий июльский день, кто у пруда засел, шеи белые вытягивает;

и вдруг заметил, что карманы штанов у Старшины топорщатся, запасными патронами набиты.

Первый выстрел — словно бич пастуший хлестанул. Пуля у карабина остроноса, гуся насквозь пробила; выстрел, выстрел, выстрел — гуси падали, клочья перьев окровавленных летели; Старшина не промахивался. Потом заело карабин, подвели все-таки пальцы, заплелись от самогонки, криво патрон вставили. Подергал он магазин и застыл — словно от сопротивления механизма безотказного и в нем самом что-то перекошило.

Федосеевна выбежала, к гусям кинулась; те валяются на траве, один крылом подергивает, промазал чуток Старшина. Крови не заметишь издали, но видно, что мертвые они; человек погибший может и в смерти живым быть, а птица лежит как куль, все пуля забрала — и грацию, и характер.

Старшина встал, повернулся — и посмотрел прямо на Кирилла, спрятавшегося за песчаной кучей. Кирилл хотел зарыться в песок, но понимал, что поздно — Старшина увидел его, увидел тем зрением, что превращает гусей в немцев. Кирилл опять почувствовал себя гусем Фрицем, ощутил руки на своей шее. И понял, что убьет его Старшина, ему нет разницы, что мальчишка, что гусь.

— Что ты наделал, ирод! Ирод! — Федосеевна налетела на Старшину, толкнула в грудь. — Ирод! Ирод! Ирод!

Ирод; это слово, не знакомое Кириллу, ударило Старшину, проникло в пьяную его голову. Может, запомнил он в детстве слова священника, ведь не Чапаевкой раньше деревня называлась, а Часовней, была в ней часовенка над ключом родниковым и церковь кирпичная, где теперь склад колхозный помещался.

Кирилл думал, что зашибет Старшина Федосеевну. Никому он не позволял к себе прикасаться, а она его за отвороты рубахи взяла. Но Старшина на бревна осел, замотал головой, а потом набок завалился. Федосеевна про гусей забыла, в дом побежала, несвежую нижнюю юбку стоптанными каблуками подбрасывая; вернулась с ведром и с размаху Старшину водой колодезной, ознобной, окатила.

Очнулся он. Люди из-за заборов глазели, но на улицу не показывались, поняв, что дело между двумя решится. Старшина рукавами мокрыми тряхнул брезгливо, огляделся, будто не понял, кто он и где; увидел Федосеевну с ведром и мирно, с недоумением только спросил:

— Сдурела, старая? Мой день сегодня. Выпить имею право.

Такой Старшина стал тихий, что Кирилл из-за кучи вылез, чтоб получше старика рассмотреть: где тот убийца, что три минуты назад в гусей стрелял? Сидит безобидный старик, на солнышке обсыхает, вроде как Кирилл дурной сон видел, который не повторится больше.

Но вдруг Кирилл понял: повторится. Будет другой день, такой же ясный, беды не предвещающий, и выйдет Старшина, от самогонки ополоумев, и кто б ему ни встретился — пес дворовый, теленок-сосунок, электрик с лестницей раскладной, — всякий будет *фашист*. И опять он, Кирилл, не успеет убежать, потому что другие ловчее, сметливее, смелее его, а он — тот, кто должен остаться Старшине на расправу, чувствовать себя гусем обреченным.

Кирилл возненавидел Старшину за это знание, которое теперь никогда не даст ему покоя; словно вся судьба наперед решилась.

А Старшина тем временем гусей побитых заметил. Помолчал, спросил у Федосеевны хмуро:

— Я?

— Ты, — ответила Федосеевна и заплакала вдруг, не так, как обычно плакала, слезами пресными, а навзрыд, горько и беспомощно; и младенец бы понял, что любит она Старшину.

Старшина икнул, раз, другой, третий, словно большие бесы уже оставили его, а теперь через рот полезли шекотные бесенятки, безвредные, но докучливые, как мухи; рыдать не прекращая, стукнула его Федосеевна по спине, прорыдала:

— Не ты, не ты это! Это война твоя проклятая в тебе сидит!

И Кирилл почувствовал, что простила Старшину Федосеевна, совсем простила — и простит еще десяток раз, пусть он хоть всю деревню спалит, всю животину безвинную перережет. И если бы Старшина его, Кирилла, застрелил, Федосеевна оплакала бы — но простила.

Старшину отпустила икота. Приобнял он Федосеевну, в дом к ней повел, но глаз при виде гусей убитых не опускал — дескать, моя вина, знаю, но виноватить себя не позволю.

На следующую весну, когда Кирилла привезли на дачу, Старшины уже не было в живых. Говорили, пошел он зимой на охоту и погиб. Много снега было, зайцы забор, сугробами

заметенный, перемахивали, чтобы у яблонь молодые веточки погрызть. Под снегом Старшина и не заметил старый ход сообщения, с войны оставшийся, одной лыжей в него угодил, упал и ногу сломал; открытый перелом. Но не сдался, лыжи отцепил, пополз назад к деревне; стрелял из ружья, думал, услышит кто и поймет, что в беде он.

И дополз бы, но пурга сильная началась, перемело лыжно, сбился он со следа, заплутал. После пурги мороз ударил, выстудил лес; воздух промеж елей застыл, ни звука, ни шороха, все морозной хваткой сжато, только вода замерзшая в стволах расширяется, ломает изнутри стылую древесину.

Мороз сердце Старшины и остановил. Нашли его зачоченелым, из леса вытаскивали на саночках, как дрова возят. Пошептывались в деревне, что ход-то сообщения был немецкий, и выходило, что немец, зимой сорок первого убитый, с того света Старшину за ногу схватил и за собой в погибель уволок.

О смерти Старшины Кирилл узнал случайно, разговор соседский услышал. Ему показалось, что мир стал просторней — словно почивший старик занимал в нем огромное, великанское место; словно зловещая туча с небосвода ушла.

Но пруд с гусями Кирилл стал обходить стороной, больше не играл на песочной куче. Гуси все так же паслись, новый гусак, отпрыск Фрица, стал вожаком, и Кирилла поражало, что гуси ничего не помнят, живут своей гусиной жизнью, для которой минувшее лето — где-то за горизонтом; нет памяти — нет страха. Он хотел научиться *не помнить*, заставлял себя забывать какую-нибудь мелочь, например что в воскресенье ели на завтрак, — и в отчаянии чувствовал, что память, наоборот, становится все более цепкой, глубокой, самовластной, будто Кирилл — лишь ее слуга. И он мечтал, чтобы у него была власть стирать дурные воспоминания, уничтожать вещи и места, которые напоминают о страхе.

Оттого Кирилл, догадавшись, что именно пустующий дом Старшины сгорел, и бежал во всю прыть — тропка водой залита, брызги летят, лягушки в стороны скачут, — крючок с калитки смахнул, цепь звякнула, собака из-за забора вслед пролаяла. Вот поворот, вот три сосны — уцелели в грозу, устояли; а вот...

Груда черных, страшных бревен; огонь уже погашен, но внизу, в кирпичях фундамента, в углях и золе, жив еще жар; грязный, вонючий пар поднимается над пепелищем.

Дом выгорел дотла. Кирилл догадывался, что, скорее всего, взорвался газовый баллон. Но чтобы дотла...

— Молния, молния ударила, — шептал кто-то. — Ровно в антенну.

Кирилл чувствовал, что люди не знают твердо, была ли на самом деле молния или соседям почудилось. Но люди уже верили; не случайный уголек выкатился из печи — молния, так выходило значительнее и жутче.

— Видишь, как Господь рассудил, — сказал кто-то из стариков, сказал без грусти, без сочувствия, словно признавая высший приговор.

И Кирилл стоял, не в силах поверить в случившееся. Федосеевна рыдала на руках у подруг, а он, хотя и знал, что стыдно это, нехорошо, — благодарил грозу и видел гусей, как ни в чем ни бывало пасущихся у пруда, и ему казалось, что одолели они вместе Старшину и страха точно не будет больше.

Но через неделю он с матерью ехал с дачи. На «Белорусской» в вагон метро вошел старик, одетый не по сезону тепло; наверное, ревматизм его мучил. Люди его заслонили, и Кирилл видел только руку — на фоне старой шинели и щегольских бурок белого войлока, полковничьих или генеральских, понизу лаковой кожей обшитых и швом тройным, фигурным, простроченных. И Кирилл узнал эту руку, неподвижную, как бы устало опущенную, но старой, матерой силы полную, силы, которая не в мясе — в самой кости, окаменевшей, древней.

Кириллу показалось, что это Старшина, он на самом деле жив — или ожил, приехал в город, сошел с электрички, пересел на метро; Кирилл в страхе спрятался за мать, стал смотреть украдкой: ему казалось, что Старшина явился за ним, его ищет.

Толпа схлынула, и Кирилл увидел, что старик — другой, ничуть на Старшину не похож. Старик вышел через две остановки, опираясь на палку и шаркая бурками; а у Кирилла перед глазами стояла его рука. И снова все вернулось:

— Ты подрасти, Фриц! Подрасти! Вот тогда...

И страх, и холод, и предчувствие обреченности — и обновленное знание, что есть меж людей Старшины, а есть гуси Фрицы, сводит их жизнь, ибо предназначены они друг другу, и ничего со смертью одного, дачного, Старшины не закончилось.

Так все окончательно сцепилось, уложилось в памяти. Когда шел дождь с грозой, с градом, — где бы он ни был —

Кирилл вспоминал ту ночь на даче... ураган... падающие яблони... бабушку, стоящую у окна, охваченную страхом... запах гари со стороны деревни... опаленные потроха сгоревшего дома... Федосеевну и Старшину... кучу песка, за которой он прятался... мертвых гусей... голос Старшины: «Ты подрасти, Фриц, подрасти, вот тогда...»... огромные руки Старшины... И ему казалось, что все на свете — взрослые, а он остался ребенком, чувствующим свою незавершенность; что-то важное для достижения взрослости *вынул* из него Старшина, когда на его глазах убивал гусей, которых считал немецкими солдатами.

Ночь на даче... Ураган... Звук воды, отвесно падающей в дождевые бочки...

Он заснул — словно нырнул с водой в темный омут бочки, в кружение пены и сбитой ветром листвы.

Кирилл проснулся рано, за окнами едва светало. Похмелья не было, только странная зыбкость, слабость в теле, будто прошлое выпило его силы сквозь узкую трубочку памяти. И тем отчетливее Кирилл ощущал, как что-то сдавливает правое запястье — будто каменная ладонь Старшины поймала и не отпускает.

Кирилл вытащил руку из-под одеяла, суеверно боясь увидеть отпечаток костяных пальцев мертвеца.

Нет, ничего. Это память. Память о наручниках.

Кирилл с бесстрастным удивлением понял, что вчера впервые за полгода не думал постоянно о том, что с ним произошло. Об аресте. О заключении, сменившемся подпиской о невыезде. Он уже не представлял себя без этих мыслей, привык без конца прокручивать в голове всю последовательность событий, судорожно прощупывать, проверять каждый стык — можно ли было поступить иначе, предугадать, избежать? А по дороге на дачу Кирилл забылся; он давно не был тут, дом помнил его еще свободным, и воздух в комнатах, запертых с осени, кисловатый простуженный воздух, пахнущий мышами, сушеным зверобоем, старым деревом, тоже был давний, прежний, как антикварная мебель в комнатах, черно-белые портреты родных; густой, будто колдовской настой забвения.

Но теперь мысли снова побежали по кругу. Майский день, митинг, тысячи человек; флаги, плакаты, наивное чувство победы, которому Кирилл поддался, хотя пошел на митинг как историк, чтобы увидеть в действии ту стихию, которую

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru